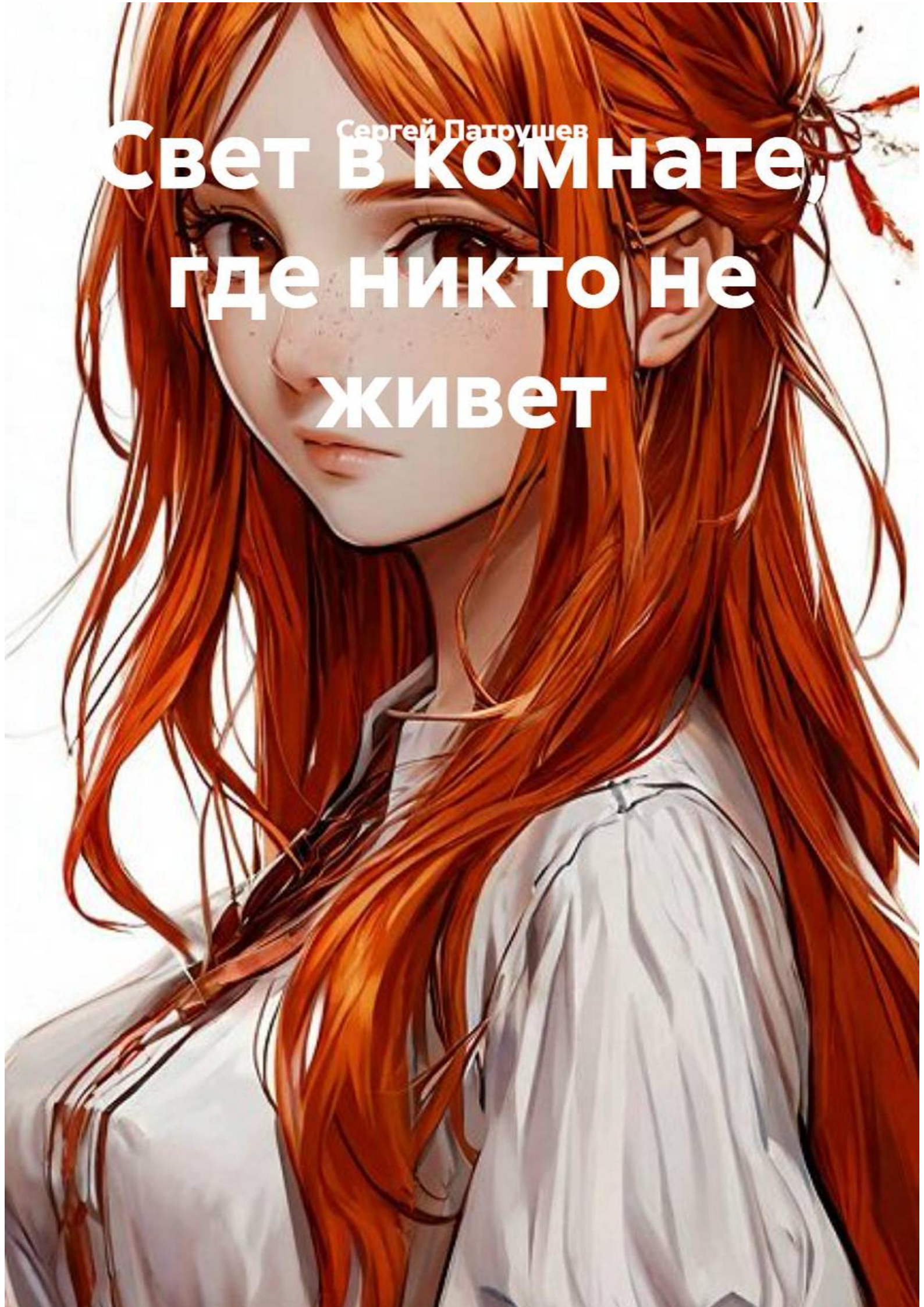




Сергей Патрушев

Свет в комнате, где никто не живет

Сергей Патрушев

**Свет в комнате,
где никто не живет**

«Автор»

2026

Патрушев С.

Свет в комнате, где никто не живет / С. Патрушев — «Автор»,
2026

Эта книга начинается там, где заканчиваются все разговоры. Ты закрываешь дверь за последним гостем. Тишина накатывает, как волна. И в этой тишине загорается свет — не тот, что от лампы. Ты смотришь в чужое окно и придумываешь целую жизнь. Достоешь с антресолей коробку с забытыми вещами, и каждая хранит тепло твоих рук — тех, прежних. Просыпаешься в четыре утра и слышишь, как молчит мир. Сидишь перед аквариумом в полной темноте и чувствуешь, как мысли становятся пузырьками — поднимаются и лопаются, не оставляя следа. А потом видишь тонкую полоску света из-под закрытой двери. Что там? Ты не знаешь. Но этот свет — самый волнующий. Свет надежды. Свет неизвестности. «Свет внутри» — это одиннадцать глав-медитаций, одиннадцать источников тепла. Автор не даёт советов и не обещает счастья. Он просто берёт тебя за руку и ведёт по комнатам твоей собственной души.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Свет после гостей	5
Глава 2. Свет в чужом окне	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Сергей Патрушев

Свет в комнате, где никто не живет

Глава 1. Свет после гостей

Тишина наступает не сразу. Она пробирается в дом робкими, осторожными толчками, как кровь, возвращающаяся в затекшую, онемевшую конечность, вызывая то самое знакомое, чуть болезненное покалывание миллионами крошечных иголок. Ты стоишь в дверном проеме, провожая последнего гостя, и все еще держишь на лице улыбку — ту самую, специальную, «проводальную», которая отличается от улыбки встречи. Встречающая улыбка широкая, открытая, с приподнятыми бровями, с готовностью немедленно заключить в объятия или принять верхнюю одежду. Проводальная — более мягкая, чуть усталая в уголках губ, но все еще теплая, с легким прищуром глаз, который говорит: «Я рада, что ты был здесь, но я также рада, что ты сейчас уйдешь». Это сложная мимическая конструкция, требующая тонкого мышечного контроля, чтобы не выдать своего истинного, глубинного нетерпения.

Ты смотришь, как силуэт гостя растворяется в желтом конусе света от лифтовой площадки или в сырой, пропитанной осенней моросью темноте лестничной клетки. Его шаги еще звучат — сначала громко, отчетливо, потом с характерным металлическим эхом на лестничном пролете, потом глуше, мягче, и наконец наступает та самая секунда, когда ты уже не уверена, слышишь ли ты реальный звук или его фантом, созданный напряженным слухом. Ты ждешь еще мгновение, перестав дышать. Тишина подтверждает: ушел. Совсем. Окончательно. Дверь закрывается, и это не простое механическое действие. Это ритуал. Замок защелкивается с металлическим, сухим, не терпящим возражений клацаньем, и этот звук служит камертоном наступающей пустоты. Он звучит как финальный аккорд симфонии, после которого в концертном зале повисает та самая драгоценная пауза, прежде чем разразится шквал аплодисментов. Только здесь аплодисментов не будет. Будет кое-что гораздо более ценное — молчание.

Ты поворачиваешься спиной к входной двери и на секунду прислоняешься к ней, чувствуя лопатками холодное дерево или шершавый, чуть колючий дерматин обивки. Эта поза — твой первый акт капитуляции перед самой собой. Ты стоишь, раскинув руки, как человек, который только что пережил кораблекрушение и наконец-то выбрался на твердую землю. Глаза закрыты. Грудь вздымается. Ты делаешь первый вдох, который полностью, безраздельно, без всяких оговорок принадлежит только тебе. Это особый вид воздуха. Он не похож на тот, что был здесь два часа назад, до прихода гостей, когда ты в спешке нарезала салаты, нервно поглядывая на часы. И он не похож на тот, что будет через час, когда ты окончательно проветришь комнаты. Это — воздух переходного периода, воздух-палимпсест, в котором записана история прошедшего вечера. Он еще не свежий. Он густой, спертый, многослойный, как геологическая порода человеческого присутствия, как культурный слой на археологическом раскопе, где каждый пласт соответствует определенному этапу вечеринки.

В этом воздухе плавают невидимые глазу, но остро, почти болезненно осязаемые обонянием слои. Самый верхний, самый летучий — тяжелый, сладкий, приторный шлейф чьих-то духов, тех самых, дорогих, с нотами жасмина и сандала, которые гостя нанесла слишком щедро, и которые теперь висят в воздухе на уровне груди плотным, почти осязаемым облаком. Под ним — кисловатый, терпкий запах красного вина, которое кто-то неудачно плеснул мимо

бокала, и оно впиталось в пробковую подставку под горячее, оставив на ней багровое, расплывчатое пятно. Еще ниже — микроскопические частицы сырной плесени с тарелки с закусками, тот самый благородный, пикантный аромат камамбера, который при смешивании с винными парами создает неожиданный, почти аптечный оттенок. И наконец, самый интимный, самый глубокий слой — едва уловимый, почти призрачный запах чужого пота, смешанного с дезодорантом, тот запах, который оседает на обивке дивана после того, как кто-то слишком эмоционально жестикулировал, рассказывая историю. Все это — молекулярные призраки, свидетельства недавнего вторжения, невидимые, но красноречивые улики социального взаимодействия. Они будут изгнаны только сквозняком, и ты уже предвкушаешь этот момент очищения, но пока — ты вдыхаешь их, смакуешь их, потому что в этой густой смеси есть своя, странная, горьковатая прелесть завершенности.

Ты идешь на кухню, и этот путь кажется странно долгим, почти эпическим. Будто комната отодвинулась, пока в ней толпились люди, расширилась, чтобы вместить их всех, их голоса, их эмоции, их размашистые жесты, а теперь возвращается на место, но с некоторой задержкой, с ленцой, как резиновая лента, которую растянули и наконец отпустили. Твое тело помнит каждый шаг этого маршрута — от двери до кухни ровно семь шагов, — но сейчас эти семь шагов ощущаются как путешествие через всю квартиру, через весь вечер, через всю твою социальную выносливость. Ты проходишь мимо зеркала в прихожей и мельком ловишь свое отражение — боже, как отличается это лицо от того, что смотрело на тебя несколько часов назад перед выходом «на сцену». Тогда это было собранное, подтянутое лицо, с аккуратным макияжем, с горящими, полными предвкушения глазами. Сейчас макияж чуть поплыл, тушь осыпалась крошечными черными точками под глазами, помада давно съедена вместе с закусками, а на скулах проступил тот самый нездоровый, пятнистый румянец, который бывает от духоты и усталости. Но тебе плевать. Больше того — тебе нравится это лицо. Оно живое, настоящее, оно больше не выставляет себя напоказ.

Свет на кухне все еще горит — тот самый парадный, яркий, безжалостный верхний свет, люстра на пять рожков, которую ты включаешь крайне редко, предпочитая в обычной, повседневной жизни мягкое, локальное, интимное освещение от торшера или светодиодной ленты под шкафами. Сейчас этот свет кажется почти хирургическим, операционным. Он высвечивает картину, которая поначалу вызывает микроскопический, почти рефлекторный укол отчаяния где-то в районе солнечного сплетения — инстинктивная реакция хозяйки на беспорядок. Но этот укол тут же сменяется теплой, разливающейся по всему телу волной странного, почти мазохистского умиротворения. Это поле битвы. Твоя кухня после вечеринки — это не просто грязное помещение, требующее уборки. Это археологический раскоп недавнего веселья, место преступления, на котором ты — и следователь, и свидетель, и главный подозреваемый. И в этом хаосе есть своя, абсолютно понятная тебе, читаемая как открытая книга, структура.

Вот раковина, доверху заваленная посудой, — гора тарелок с засохшими крошками пирога, пирамида бокалов с мутным, опалесцирующим осадком вина на дне, чашки с остатками остывшего чая, в которых плавают размокшие чайники. Каждая эта тарелка, каждый бокал — не просто грязная посуда. Это артефакт. Немой свидетель. Ты смотришь на них почти с нежностью, почти с материнской теплотой, потому что они немые. Они не требуют. Они не задают вопросов. Грязная посуда не смеется слишком громко, не рассказывает в десятый раз одну и ту же историю, которую ты уже слышала на прошлой встрече, не задает бестактных вопросов о твоей личной жизни («Ну а когда ты уже кого-нибудь найдешь?»), не перебивает, не пытается перетянуть одеяло внимания на себя. Она просто есть. Она пассивна. Она покорна твоей воле. Ты можешь убрать ее сейчас, немедленно, в три часа ночи, засучив рукава и воору-

жившись губкой, а можешь оставить до утра, и никто — слышишь, никто! — не осудит тебя за это. Никто не сделает пассивно-агрессивного замечания, никто не начнет демонстративно, с подчеркнутой готовностью мыть чашки, создавая у тебя то самое неловкое, жгучее чувство вины, когда гость выполняет работу хозяйки. Эта кухня — снова твоя крепость. Даже если она лежит в руинах. Даже если на полу рассыпаны крошки чипсов, а на столешнице застыла лужица пролитого соуса. Это — твои руины. Твой хаос. Твой порядок.

Тыходишь к столу. Чашки. Они еще теплые. Это поразительное, почти интимное открытие. Ты протягиваешь руку и берешь одну, почти наугад, — ту самую, с маленьким треугольным отколотым краешком на ободке, которую ты специально, сознательно, с некоторой долей самоотречения поставила себе, чтобы никто из гостей, не дай бог, не подумал, что ты поишь их из бракованной, некондиционной посуды. Ты обхватываешь ее ладонями, как птенца, как драгоценную реликвию. Тепло передается через керамику мягкой, угасающей, затухающей волной. Оно проникает сквозь кожу ладоней, поднимается по запястьям, расходится по венам к локтям и плечам. Это температура чужого дыхания, чужих губ, чужого присутствия, которое только что, буквально несколько минут назад, было здесь, в этой комнате, на этом самом стуле, обхватывало эту самую чашку пальцами, смеялось, спорило о какой-то невероятной ерунде вроде политики или способов варки пасты, и вот теперь от всего этого живого, вибрирующего, громкого присутствия осталась только эта затухающая физическая константа — тепло. Ты подносишь чашку ближе к лицу, не для того чтобы выпить остатки остывшего, горьковатого чая на дне, а чтобы просто почувствовать этот остаточный жар кожей щек, кончиком носа, даже, кажется, ресницами. Это прикосновение к ушедшему времени. Это как держать в руке остывающий уголек, выхваченный из прогоревшего костра. Ожога уже не будет — он слишком слаб для этого. Будет только мягкое, комфортное, убаюкивающее тепло, которое гарантирует, что недавний пожар был реален, он полыхал здесь, в этих стенах, но ты уцелела. Ты выстояла. Ты снова в безопасности.

Ты ставишь чашку обратно на стол, и в этот момент твой взгляд падает на разбросанные салфетки — смятые, скомканные, с отпечатками губной помады разных оттенков. Они похожи на экзотические цветы, усеявшие скатерть после урагана. Ты поднимаешь одну, расправляешь ее, рассматривая след. Этот алый полумесяц принадлежал Марине — она всегда красит губы слишком ярко и оставляет такие вот «автографы» повсюду. Этот бледно-розовый, почти незаметный — Лене, которая вечно стесняется есть при людях и промокает рот после каждого кусочка. Каждая салфетка — это портрет, это подпись, это маленькое послание, оставленное невольно. Ты собираешь их в кучку, но не выбрасываешь сразу — ты еще помедлишь, потому что в этом разглядывании следов есть что-то от чтения книги, которую ты уже прочла, но хочешь перелистнуть еще раз, задержаться на особенно приятных страницах.

Самое удивительное, самое волшебное чувство наступает, когда ты выключаешь этот безжалостный, все высвечивающий, операционный верхний свет. Щелчок выключателя — сухой, лаконичный, категоричный — и кухня проваливается в темноту. Но это не та пугающая, холодная, бездонная темнота подвала или незнакомого леса. Это теплая, обволакивающая, почти утробная темнота. Первые несколько секунд ты стоишь абсолютно неподвижно, боясь спугнуть это ощущение, давая глазам время привыкнуть, позволяя зрачкам медленно, плавно расширяться. И в этой темноте мир внезапно обретает свои истинные, правильные, соразмерные тебе пропорции. Из мрака, словно звезды на ночном небе, проступают контуры предметов, подсвеченные слабым, призрачным светом уличного фонаря, который сочится сквозь неплотно задернутые шторы и рисует на полу бледно-желтые, колеблющиеся от ветра прямоугольники. Или зеленым, ядовито-изумрудным глазком микроволновки, этим неусыпным стражем кухни,

который всегда на посту. Или голубоватым, холодным, мерцающим индикатором работающего роутера, который пульсирует в такт какой-то неведомой цифровой жизни. Эти огоньки — твои молчаливые союзники, твои маленькие маяки в океане тишины. Они были здесь всегда, все эти долгие часы, пока гости наполняли пространство своими громкими, резонирующими головами и требовали твоего безраздельного внимания. Теперь они снова вступают в свои права, создавая камерную, интимную, заговорщицкую атмосферу, в которой нет места чужакам.

Тишина накатывает не сразу — она наслаивается, уплотняется, становится все более ощутимой. Это не просто отсутствие звука, это плотная, почти осязаемая, почти физически весомая субстанция. Кажется, протяни руку — и ты сможешь коснуться ее, ощутить ее текстуру, ее прохладу или тепло. Она накрывает тебя, словно тяжелое ватное одеяло, в котором каждое волокно соткано из покоя. Сначала в ушах еще стоит шум — фантомный звон недавней музыки, обрывки фраз, которые словно налипают на барабанные перепонки, не желая отклеиваться. Ты все еще слышишь чей-то смех — раскатистый, грудной, — и чей-то ответный шепот, и звон бокалов. Но постепенно, слой за слоем, этот шум расслаивается, отступает, истончается, обнажая истинный, аутентичный, подлинный голос твоего дома. Ты начинаешь слышать то, что было заглушено, подавлено, втоптанно в пол децибелами человеческого веселья: мерное, гипнотическое тиканье настенных часов — тех самых, старых, с маятником, доставшихся от бабушки, — которое в шумной компании раздражало бы своей монотонной навязчивостью, а сейчас звучит как успокаивающая мантра, как биение второго, механического сердца твоего дома. Ты слышишь шорох оседающей в трубах воды — кто-то из гостей мыл руки перед уходом, и теперь вода, журча, уходит по стояку вниз, к соседям. Ты слышишь едва уловимое, низкое, утробное гудение холодильника, который, кажется, тоже с облегчением выдохнул, перестав содрогаться и вибрировать от бесконечного хлопанья дверцей каждые пять минут. Дом говорит с тобой на своем собственном, древнем, невербальном языке, и этот язык — язык покоя, язык безопасности, язык возвращения к истокам.

Ты проходишь в гостиную, ступая мягко, почти крадучись, словно боясь потревожить сон самого пространства. Здесь воздух еще гуще, еще насыщеннее, еще многослойнее, чем на кухне. Он стоит пластами, как вода в термальном источнике — на разной высоте разная температура, разная плотность. У самого пола, где гуляет легкий, едва заметный сквозняк от неплотно закрытого окна, воздух прохладный, свежий, он пахнет ночной улицей, мокрым асфальтом и прелыми осенними листьями. На уровне дивана, на высоте сидящего человека, — тяжелое, спертое тепло, остатки тепла от разгоряченных разговорами и вином тел. А под потолком, куда поднимался сигаретный дым (если кто-то курил на балконе, но дверь была приоткрыта) и дыхание, — стоит тонкая, едкая завеса, которая рассеется только к утру. Ты опускаешься на диван, и подушки все еще хранят вмятины чужих тел — эта глубокая продавленность от чьих-то широких бедер, эта поменьше, от плеча, эта совсем маленькая, от локтя. Ты не расправляешь их сразу, не взбиваешь, не возвращаешь им первоначальную, «парадную» форму. Наоборот — ты осторожно, почти благоговейно укладываешься в эти вмятины, словно в заранее подготовленную, идеально подогнанную колыбель. Твое тело занимает чужое теплое место, и на секунду ты чувствуешь себя палимпсестом — ты ложишься поверх чьего-то отпечатка. Ты закрываешь глаза и анализируешь форму этой вмятины: этот человек сидел, сгорбившись, поджав ноги под себя, — наверное, это была Наташа, которая всегда принимает такие «уютные» позы. А этот, развалившийся, занявший полдивана, — конечно же, Антон, он иначе не умеет. Деформированный поролон, сбита обивка — это гипсовый слепок прошедшего вечера, это карта социальных поз, которую ты можешь читать, как открытую книгу.

Ты утыкаешься носом в декоративную подушку и вдыхаешь запах чужого парфюма, оставшийся на ней. Это сложный, многосоставный аромат — его носила та самая подруга, с которой вы давно не виделись и которая весь вечер просидела в углу дивана, поджав под себя одну ногу и рассказывая о своей новой работе. Ты вдыхаешь этот запах сейчас, в тишине и покое, и вдруг понимаешь: только сейчас, именно в этот момент, когда все ушли, ты можешь по-настоящему, полно, безраздельно их полюбить. Парадокс, но это именно так. Это один из тех парадоксов человеческой психики, которые невозможно объяснить рационально, но которые чувствуешь каждой клеткой тела. Пока они были здесь, в этой комнате, — шумные, требовательные, перебивающие друг друга на полуслове, взрывающиеся смехом в самые неожиданные моменты, — ты тратила колоссальное, невосполнимое количество энергии на поддержание невидимого, но такого тяжелого купола радушия. Ты была режиссером этого вечера, осветителем, сценаристом, официантом, психотерапевтом, конфликтологом и массовиком-затейником в одном флаконе. Твоя улыбка была не спонтанным выражением эмоций, а работой, вахтовым методом, сменой, которую нужно отстоять от звонка до звонка. Твой смех был не реакцией на юмор, а социальной смазкой, необходимой для того, чтобы механизм вечеринки не скрипел. Ты постоянно, ежеминутно, ежесекундно сканировала пространство: не скучно ли им, не пусты ли бокалы, не заскучал ли кто в одиночестве, не слишком ли громко играет музыка, не нужно ли сменить плейлист, не обиделась ли она на ту невинную шутку десятиминутной давности. Ты ловила малейшие, почти незаметные признаки скуки или дискомфорта, предвосхищала желания еще до того, как они были озвучены, наполняла бокалы, когда они пустели наполовину, и подкладывала салфетки, когда они заканчивались. Ты была не собой. Ты была функцией. Ты была проекцией гостеприимства, ходячим понятием «хорошая хозяйка», лишенным собственных потребностей, собственной усталости, собственного права на тишину.

И только сейчас, когда их нет, когда от них остался только этот тонкий, истаивающий шлейф присутствия, только запах духов на подушке да теплый след на диване, ты можешь испытать к ним то самое чистое, незамутненное, кристальное чувство привязанности, которое невозможно испытать в тесноте реального, непосредственного контакта. Сейчас, в этой абсолютной, звенящей тишине, они для тебя — не требовательные гости, а милые, родные, дорогие сердцу призраки. Ты перебираешь в памяти моменты вечера, и они уже не вызывают стресса, не заставляют внутренне сжиматься от неловкости или раздражения. Они превратились в милые сердцу эпизоды, в драгоценные кадры, которые можно пересматривать, как старый, зачитанный до дыр фотоальбом, без необходимости немедленно на них реагировать. Вот Марина рассказывает свою коронную историю про поездку в Италию, и ты улыбаешься не потому, что должна, а потому что история действительно смешная — ты только сейчас это осознала, когда у тебя появилось время подумать над ней. Вот Лена с Антоном спорят о каком-то фильме, и ты мысленно принимаешь сторону Лены, хотя вслух тогда дипломатично промолчала. Воспоминания больше не требуют обратной связи. Они просто есть, и от этого они прекрасны.

Это и есть свет облегчения. Он нисходит на тебя — мягкий, рассеянный, как рассвет после долгой, темной, бурной, штормовой ночи. Он заполняет собой все пространство, просачивается в каждую щель, в каждую пору, в каждую клеточку твоего уставшего, измотанного социальными взаимодействиями тела. Ты начинаешь раздеваться, но делаешь это не так, как обычно, — не торопливо, не механически, стремясь скорее забраться под одеяло и забыться сном. Ты делаешь это медленно, ритуально, с чувством, с толком, с расстановкой, словно жрица, совершающая вечернее омовение после долгого храмового праздника. Ты снимаешь с себя «парадную» кожу. Вот расстегивается молния на платье — том самом, которое ты выбирала два часа, перерыв половину гардероба, отмечая вариант за вариантом, чтобы выглядеть «непринужденно элегантной» и «не слишком нарядной, но и не повседневной». Боже, сколько

же усилий, сколько нервов, сколько примерок стояло за этой кажущейся непринужденностью! Одежда падает на пол бесформенной, бесцветной кучей, и тебе абсолютно, категорически плевать на это. Завтра подберешь. Или послезавтра. Это не имеет значения, потому что сейчас ты никому не обязана отчитываться о порядке в спальне.

Ты идешь в ванную, и каждое движение приносит освобождение. Ты смываешь косметику — слой за слоем, — и лицо в зеркале постепенно, как фотография в проявителе, проступает из-под слоя тонального крема, пудры, румян, туши, подводки. Это лицо не такое яркое, не такое «готовое к выходу». У него есть мелкие морщинки у глаз — «гусиные лапки», — которые ты так тщательно маскируешь. На нем есть пара пигментных пятен и, возможно, назревающий прыщик на подбородке. У этого лица усталый, чуть потухший, но абсолютно, кристально честный взгляд. И это лицо тебе нравится больше. Намного больше. Это лицо человека, которому больше не нужно никого очаровывать, никого убеждать в своей привлекательности, никому улыбаться через силу. Это лицо человека, который имеет право на усталость, на несовершенство, на покой. Ты чистишь зубы, и эта простая, машинальная гигиеническая процедура вдруг превращается в акт заземления, возвращения в собственное тело. Ты вытираешь лицо полотенцем, с наслаждением ощущая его мягкую, махровую текстуру, и идешь в спальню. Ты натягиваешь старую, застиранную, растянутую на локтях и воротнике футболку, которая пахнет не кондиционером для белья, а тобой, твоим домом, твоей безопасностью. Эта футболка — твой флаг капитуляции перед самой собой, твой белый флаг, который ты выбрасываешь, сдаваясь в плен собственному комфорту. Ты больше не воин на поле битвы социализации. Ты просто человек в своей постели.

Ощущение, когда ты снова принадлежишь только себе, физически ощутимо. Оно имеет вкус, цвет, плотность. Ты чувствуешь его в возможности ходить, не втягивая живот. Стоять, ссутулившись, скособочившись, выпятив нижнюю челюсть — в любой неудобной, непрезентабельной позе, — и никто тебя не видит, никто не оценивает, никто не делает мысленных замечаний о твоей осанке. Ты чувствуешь это в возможности сидеть, сгорбившись над чашкой с холодным, горьким, передержанным чаем, тупо, бездумно уставившись в одну точку на стене — на трещинку в штукатурке, на блик от уличного фонаря, на что угодно, — и никто, ни одна живая душа не подойдет и не спросит с этой фальшивой, приторной заботой в голосе: «О чем ты задумалась? У тебя все хорошо? Почему ты такая грустная?». Вопрос «О чем ты задумалась?» — это один из самых агрессивных, самых бесцеремонных актов вторжения в личное ментальное пространство, который только можно вообразить, и при этом он искусно замаскирован под заботу, под участие, под безразличие. Пока были гости, твое сознание было оккупированной, захваченной, колонизированной территорией. Ты постоянно, безостановочно анализировала, отвечала, поддерживала связь, была на подхвате, готова в любую секунду включиться в любую беседу. Теперь твои мысли могут быть любыми — бессвязными, глупыми, пустыми, странными, гениальными, постыдными, — и это никого, абсолютно никого не касается. Ты можешь открыть холодильник, эту светящуюся сокровищницу, и достать оттуда кусок колбасы, и съесть его, стоя у раскрытой дверцы, глядя в пустоту остановившимся, отсутствующим взглядом, не предлагая никому, не нарезаая тонкими кружочками на красивой тарелке, не создавая «блюдо» и не сервируя «закуску». Ты можешь просто есть. Просто колбасу. Просто стоя. Это акт чистой, ничем не замутненной, абсолютной, дистиллированной свободы.

Эта радость возвращения в собственное пространство сродни радости выздоровления. Ты долго, мучительно долго носила неудобную, узкую, натирающую обувь на высоком каблуке, и каждый шаг давался с трудом, с болью, с напряжением. А теперь ты наконец скинула ее,

отшвырнула куда-то в угол прихожей и идешь босиком по прохладной, чуть пружинящей траве. Только трава — это твой пол, твой паркет, твой ковер. Трава — это твоя одинокая, прекрасная, самодостаточная жизнь, по которой ты ступаешь мягко, уверенно, ничего не боясь и ни от кого не завися. Ты проходишь по комнатам, и твои босые ступни ощущают каждую половицу, каждый стык ламината, каждую ворсинку ковра. Это карта твоего мира, и ты читаешь ее кожей, ты присваиваешь ее заново.

В этом состоянии полуночного, пограничного бодрствования, когда весь остальной мир за окном, кажется, спит глубоким, предрассветным сном, ты наливаешь себе бокал воды. Не из графина с плавающими в нем кружочками лимона и веточками мяты, не из стильного кувшина с фильтром, а просто из-под крана. Ты открываешь кран, слушаешь шум воды, смотришь, как она наполняет прозрачный стакан, как пузырьки воздуха поднимаются со дна к поверхности. Ты пьешь ее жадно, стоя у окна. За стеклом — чернота или редкие, теплые, желтые огни соседних домов, разбросанные как светящиеся семена. Ты смотришь на них, и в голову приходит мысль: за каждым из этих окон — жизнь. Чужая, неведомая, параллельная. За каждым из этих окон тоже, возможно, только что закончился чей-то праздник, или ссора, или уютный вечер вдвоем, или одинокий ужин перед телевизором. Там тоже кто-то, возможно, стоит сейчас у окна и смотрит на твое темное окно. Но там — чужая жизнь. А здесь — твоя. И между твоей жизнью и всем этим огромным, шумным, хаотичным внешним миром сейчас стоит прочное стекло и плотная, непроницаемая стена тишины. Это моменты абсолютного суверенитета. Ты — королева этого маленького, темного, тихого королевства, и у тебя нет подданных, и тебе они не нужны.

Ты понимаешь — не умом, не логикой, а каким-то глубинным, иррациональным, животным чутьем, — что одиночество, которое тебя сейчас окутывает, это не отсутствие других. Это не вакуум, не пустота, не зияющая черная дыра. Одиночество — это присутствие себя. Полное, тотальное, безраздельное присутствие. Это момент, когда ты перестаешь быть эхом чужих ожиданий, чужих мнений, чужих оценок и становишься собственным голосом, собственным звучанием. Даже если ты молчишь. Даже если ты просто сидишь в кресле и смотришь на то, как остывает чай в чашке и как за окном медленно, неохотно начинает сереть предрассветное небо. Даже в этом молчании ты ведешь самый важный, самый экзистенциальный диалог — диалог с самим собой. Тот диалог, который был грубо, бесцеремонно прерван звонком в дверь несколько часов назад. И вот теперь он возобновляется — плавно, естественно, как река, которая наконец-то прорвала плотину и потекла по своему руслу.

Ты оглядываешь разгромленную квартиру еще раз — этим медленным, панорамным взглядом. И у тебя нет ни малейшего желания немедленно прибраться. Это не лень, не прокрастинация, не усталость. Это сознательное, осмысленное, почти сакральное продление ритуала. Пусть этот бардак побудет здесь еще немного. Пусть он постоит памятником твоему социальному подвигу, твоему выходу в свет, который состоялся здесь, в этих стенах. Пусть разбросанные салфетки, грязные бокалы и сбитые подушки будут молчаливыми свидетелями того, что ты способна на это — способна быть частью социума, способна принимать, угощать, развлекать, слушать, смеяться. Это твой трофей, и ты имеешь право им полюбоваться. Завтра ты проснешься — может быть, поздно, может быть, с легкой головной болью от выпитого вина и недосыпа, — и первым делом, возможно, соберешь бутылки, протрешь столы, загрузишь посудомоечную машину. Но в этом действии, в этой утренней уборке будет своя, особая прелесть. Уборка после гостей — это не наказание, не повинность, не каторжный труд. Это медитация. Это способ упорядочить не только дом, но и мысли, разложить по полочкам не только вещи, но и впечатления. Смывая следы чужого пребывания, оттирая засохшие пятна, собирая крошки,

ты символически обновляешь границы своего мира, восстанавливаешь свой личный космос из хаоса. Ты смываешь отпечатки пальцев с дверцы холодильника — и будто стираешь чужие прикосновения со своей души. Ты моешь пол — и будто проводишь водную границу, через которую больше никто не посмеет переступить без приглашения. Ты пылесосишь ковер — и с каждой секундой твой внутренний монолит восстанавливается, становится крепче, прочнее, незыблемее. Но это все будет завтра, на свежую, отдохнувшую голову, с чашкой горячего, ароматного, крепкого кофе, которую ты сварешь только для себя, в полной, абсолютной тишине, сидя за идеально чистым, сияющим столом. А пока, глубокой ночью, ты оставляешь этот хаос как напоминание, как вещественное доказательство того, что жизнь здесь была, кипела, бурлила, и ты была ее центром.

Свет после гостей имеет особое, ни с чем не сравнимое качество. Он не яркий и не тусклый, не холодный и не теплый. Он — умиротворяющий. Ты выключаешь везде свет и зажигаешь свечу — одну-единственную. Это может показаться глупым, иррациональным: только что здесь горели десятки электрических лампочек, люстра в пять рожков, бра, торшеры, а теперь ты сидишь в старой пижаме при колеблющемся, неверном, трепещущем пламени одного фитиля. Но именно этот свет идеально подходит для тишины. Электричество — оно для толпы, для работы, для функциональности, для того, чтобы все всё видели. Живой огонь — он для одиночества, для интимности, для разговора с собой. Он создает на стенах колеблющиеся, танцующие тени, которые делают пространство живым, дышащим, но это движение — мягкое, неагрессивное, убаюкивающее. Оно не требует от тебя участия, не вовлекает, не заставляет реагировать. Оно само, бесплатно, развлекает тебя этим немим театром теней, а ты просто сидишь и смотришь, и твой ум наконец-то замедляется. То броуновское, хаотичное, изматывающее движение мыслей, которое терзало тебя весь вечер — этот бесконечный внутренний монолог, этот поток тревожности («не скучно ли им?», «достаточно ли еды?», «не слишком ли громко играет музыка?», «не обиделась ли она на мою шутку?», «почему они замолчали, когда я вошла?»), — прекращается. Наступает штиль. Полный, абсолютный, зеркальный штиль. Ты чувствуешь, как разжимаются челюсти, которые ты непроизвольно, рефлекторно сжимала последние четыре часа. Как опускаются плечи, которые были подняты, прижаты к ушам в классическом защитном рефлексе. Как расслабляются мышцы поясницы, которые держали спину идеально прямой все это время. Ты слышишь свой собственный вздох — долгий, протяжный, идущий откуда-то из самой глубины живота, — и этот вздох звучит как первый вздох младенца, который родился в свой собственный, новый, чистый мир. Ты родилась заново из пены вечеринки, вышла из этого шумного, пенного моря на берег тишины.

В этом ритуале, в этом вечернем возвращении к себе есть что-то глубоко древнее, архаичное, почти сакральное. Древние люди, наши далекие предки, возвращаясь с коллективной охоты или шумного, многолюдного племенного праздника, уходили в свои хижины, в свои пещеры, чтобы побыть в молчании, чтобы переварить не только пищу, но и чужую энергию, чужое присутствие. Им требовалось время, чтобы смыть с себя чужие взгляды, чужие прикосновения, чужие слова. Мы недалеко ушли от них в этом смысле. Наш мозг, наша нервная система, наш гормональный фон — они все те же, что и тысячи лет назад. Побыв на сцене, актеру нужна гримерка. Побыв для всех, тебе нужно побыть ни для кого. И в этом нет ни капли эгоизма, ни грамма мизантропии. Это не бегство от людей, а возвращение к основе, к фундаменту. Это гигиена души. Ты сидишь в кресле, подобрав под себя ноги, и чувствуешь, как вязкая, теплая, почти горячая волна благодарности поднимается откуда-то из района солнечного сплетения и разливается по всему телу — к кончикам пальцев, к макушке, к пяткам. Ты благодарна гостям за то, что они пришли, что они заполнили этот вечер смехом и разговорами, но стократ, тысячекрат сильнее ты благодарна им за то, что они ушли. За то, что они

знают меру. За то, что не остались ночевать. За то, что захлопнули за собой дверь и оставили тебя одну. Потому что только контраст дает ощутить вкус. Только на фоне абсолютной пустоты можно по-настоящему оценить наполненность. Только возможность закрыть дверь за последним человеком делает встречу ценной, желанной, а не пугающей. Если бы вечеринка никогда не кончалась, если бы гости не уходили, она превратилась бы в самую изощренную, самую страшную пытку. Ты устала, но это прекрасная, приятная, заслуженная усталость — усталость марафонца, пересекшего финишную черту, усталость пловца, переплывшего Ла-Манш. Каждая клеточка твоего тела поет от осознания того, что представление окончено, занавес опустился, актеры разгримировались и разошлись по домам. Аплодисменты стихли. Зал опустел. Но ты не грустишь об этом, ни капли, потому что ты и есть самый благодарный, самый преданный зритель, который пришел на этот спектакль и досмотрел его до самого конца.

Ты ложишься в постель не сразу. Ты еще бродишь по этим комнатам, как призрак, как бесплотный дух, как хозяйка замка с привидениями. Ты касаешься кончиками пальцев косяков дверей, выключателей, столешниц, спинки стульев. Ты возвращаешь себе территорию тактильно, шаг за шагом, дюйм за дюймом. Как кошка, которая трется щекой о ножки стульев, чтобы оставить свой запах, как зверь, который метит границы своих владений. Весь вечер эти поверхности принадлежали им — на них стояли чужие бокалы, лежали чужие телефоны экранами вниз, скользили чужие пальцы, оставляя невидимые отпечатки. Теперь ты проводишь ладонью по дереву, стирая этот невидимый налет чужой энергетики, присваивая предметы заново, возвращая им их истинное, сокровенное значение. Пространство сжимается до размеров твоего тела, до размеров твоей ауры. Оно больше не ландшафт для маневров большой компании, не танцпол, не банкетный зал. Оно снова — раковина, идеально, с ювелирной точностью подогнанная под твое тело, под твою душу, под твое одиночество. И в этой тесноте, в этом сжатии — невыразимый, почти экстатический уют. Кровать принимает тебя, как вода принимает ныряльщика — беззвучно, мягко, полностью. Прохладная, свежая, хрустящая простыня. Тяжелое, весомое одеяло. Ты вытягиваешь ноги, разбрасываешь руки в стороны, занимая собой всю площадь кровати — от края до края, от изголовья до изножья. Ты лежишь звездой, морской звездой, раскинувшись во все стороны. Ты одна, и тебе не нужно делить подушку, пододеяльник, воздух, одеяло. Тебе не нужно бояться, что ты храпишь, или ворочаешься слишком часто, или сдергиваешь одеяло на себя. Тишина в спальне звенит в ушах — высоким, тонким, хрустальным звоном, — но это не тишина пустоты, не тишина склепа, не тишина вакуума. Это тишина наполненности, тишина изобилия. Она густая, как сироп, как мед. Она обволакивает и баюкает. Ты слышишь стук собственного сердца — ровный, спокойный, уверенный. Это единственный гость, который остался с тобой навсегда. Которого ты не можешь выпроводить за дверь. И ты не хочешь.

Ночь переваливает за свой зенит и медленно, почти незаметно начинает катиться под уклон, к рассвету. Где-то там, в других домах, в других районах, возможно, еще гремят музыкой поздние тусовки, еще звенят бокалы и раздаются взрывы смеха. Твои гости, наверное, уже добрались до своих постелей, до своих нор, до своих убежищ. Ты представляешь их, разбредающих по своим квартирам, снимающих обувь в прихожих, рушащихся в кровати. Ты мысленно желаешь им спокойной ночи — каждому по отдельности, по имени. Это искреннее, теплое, лишенное всякого напряжения и задней мысли пожелание. Ты любишь их. Прямо сейчас, в эту секунду, ты любишь их сильнее, чем когда-либо. Ты любишь их на расстоянии. Ты любишь их именно потому, что их сейчас нет рядом. Завтра — или уже сегодня, технически, — ты напишешь им в общий чат сообщение: «Ребята, спасибо огромное, что пришли, было чудесно, давайте как-нибудь повторим!». И ты будешь иметь в виду именно это, каждое написанное слово. Ты действительно хочешь повторить. Когда-нибудь. Не завтра, конечно. Может быть,

через месяц. Может быть, через два. Но самым чудесным, самым драгоценным, самым ярким моментом прошедшего вечера, о котором ты никому и никогда не расскажешь, потому что он не предназначен для чужих ушей, потому что он не требует свидетелей и не терпит разделения, была именно эта минута. Вот эта. Сейчас. Минута, когда захлопнулась дверь и ты наконец-то, с облегчением, выдохнула. Минута, когда ты сняла маску и почувствовала прохладный воздух на разгоряченной, уставшей от мимики коже лица. Минута, когда смех стих вдалеке, и его сменил Свет. Не тот электрический свет, что заливают комнату при нажатии на выключатель, а тот внутренний, таинственный, теплый свет, который зажигается где-то глубоко в груди, когда шум мира отступает, откатывается, как волна прилива, и ты остаешься наедине с бесконечным, спокойным, теплым, мерно дышащим океаном себя. И в этом океане ты плывешь в сон — легко, свободно, не боясь утонуть, потому что эти воды — твои родные. Они пахнут домом. Они пахнут свободой. Они пахнут тобой. Завтра будет новый день, новые заботы, новые встречи и, возможно, новые гости. Но это будет завтра. А сейчас, в этой выжженной весельем, но такой прекрасной, такой благодатной пустыне тишины, есть только ты. И это именно то, что тебе нужно. Именно то, чего ты хотела. Именно то, ради чего ты все это затеяла — чтобы в конце концов остаться одной и понять, как это хорошо.

Глава 2. Свет в чужом окне

Это начинается всегда внезапно, без предупреждения, без какой-либо видимой причины. Ты просто идешь по вечерней улице — может быть, возвращаешься с работы, может быть, вышла за хлебом, может быть, просто бесцельно бродишь, убивая время, которое почему-то стало слишком густым и тягучим, чтобы провести его в четырех стенах. Улица уже погрузилась в тот особенный, переходный режим существования, когда день официально закончен, но ночь еще не вступила в свои полные права. Фонари только-только зажглись и горят как-то неуверенно, словно пробуя себя, словно разминаясь перед долгой рабочей сменой. Воздух плотный, синий, наполненный выхлопными газами остывающих автомобилей и запахом мокрого асфальта, если недавно прошел дождь. Прохожие встречаются все реже, и те, что попадают, движутся целеустремленно — они спешат домой, к своим горячим ужинам, к своим телевизорам, к своим ожидающим их котам и собакам, к своим семьям или к своему одиночеству. И вот в этот самый момент, когда ты погружена в собственные мысли, в собственный ритм шагов, твой взгляд случайно, как будто движимый какой-то посторонней, внешней силой, поднимается вверх и в сторону — и ты видишь его.

Прямоугольник света. Желтый, теплый, медовый прямоугольник в темной, почти черной стене дома напротив. Он висит там, как картина в галерее, как экран включенного телевизора, как портал в другой мир. Окно. Самое обыкновенное окно в самой обыкновенной многоэтажке, каких тысячи в любом городе, — пластиковая рама, возможно, москитная сетка, возможно, горшок с каким-то растением на подоконнике, силуэт которого расплывается в желтом контражуре. Но в этом окне горит свет. И этот свет мгновенно, как магнит, как гравитационное поле, притягивает твоё внимание, вырывает тебя из потока собственных мыслей, заставляет остановиться, замедлить шаг, а то и вовсе замереть на месте, сделав вид, что ты ищешь что-то в сумке или завязываешь шнурок. Потому что там, в этом освещенном прямоугольнике, происходит жизнь. Чужая, неведомая, параллельная твоей, но — жизнь. И ты не можешь отвести от нее глаз.

Это не вуайеризм в его классическом, патологическом, постыдном понимании. Это нечто иное, более сложное, более многослойное, более экзистенциальное. Ты не хочешь подсмотреть что-то интимное, что-то запретное, что-то такое, что эти люди хотели бы скрыть. Тебе это не нужно. Тебе нужно другое — тебе нужна история. Тебе нужен сюжет. Тебе нужно почувствовать, что мир не заканчивается на кончиках твоих пальцев, что за пределами твоей головы, твоей квартиры, твоей работы, твоих проблем существуют бесчисленные, неисчерпаемые, как песчинки на морском дне, другие реальности. И каждая из них так же сложна, так же полна радости и боли, так же значима для своего носителя, как твоя — для тебя. Зажегшийся свет в чужом окне — это приглашение, которое никто не посылал, но которое ты принимаешь. Это немой сигнал: смотри, здесь кто-то есть. Здесь кто-то живет.

Ты стоишь на тротуаре, подняв голову, и твои глаза уже адаптировались к контрасту между уличной темнотой и комнатным светом. Ты начинаешь различать детали. Сначала самые общие, самые грубые. Потолок с лепниной или натяжной глянцевый — значит, ремонт делали недавно, значит, у людей есть средства или, по крайней мере, вкус к порядку. Люстра — старая, советская, трехрожковая, или современный минималистичный плафон. Это сразу задает тон всей будущей истории, определяет эпоху, в которую будут помещены твои невольные персонажи. Затем твой взгляд выхватывает более мелкие предметы, и каждый из них — как слово

в предложении, как мазок на холсте. Книжный шкаф, забитый до отказа книгами, а не сувенирами и не пыльными коллекционными тарелками, — это уже говорит о персонажах больше, чем иной паспорт. Это интеллектуалы, или просто люди старой закалки, или молодые, но с претензией на интеллигентность. Картина на стене — репродукция известного художника или что-то самодельное, возможно, детский рисунок, вставленный в рамку. Телевизор — огромная плазма во всю стену или скромный экран, притулившийся в углу на тумбочке. И пока ты рассматриваешь все это, в комнате появляется движение.

Тень. Сначала просто смазанный силуэт, пересекающий освещенное пространство. Кто это? Мужчина? Женщина? Ребенок? Тень движется плавно, неторопливо — значит, человек никуда не спешит, он у себя дома, он расслаблен. Или, наоборот, тень мечется из стороны в сторону, то исчезая, то появляясь вновь, — возможно, человек что-то ищет, возможно, нервничает, возможно, просто энергично убирается. Ты напрягаешь зрение до предела, почти до рези в глазах, пытаешься разглядеть лицо, черты, выражение. Но расстояние слишком велико, а свет бьет в спину, делая фигуру темной, почти черной, лишенной индивидуальности, превращая живого человека в архетип, в чистую идею человека. И именно это — самое ценное. Именно это отсутствие деталей, эта непрорисованность, эта размытость и запускает механизм твоего воображения на полную, максимальную мощность. Если бы ты могла разглядеть все четко, если бы ты увидела морщины на лице, круги под глазами, немодную одежду или, наоборот, слишком дорогой костюм, — история была бы уже написана за тебя. Реальность грубо вторглась бы в твои фантазии и разрушила их. А так — перед тобой чистый холст, на котором ты, художник, можешь нарисовать все, что угодно.

И ты начинаешь додумывать. Это происходит почти бессознательно, автоматически, как слюноотделение при виде вкусной еды. Твой мозг, этот великий генератор нарративов, не терпит пустоты, не терпит неопределенности. Он требует сюжета, требует объяснения, требует законченной истории. Вот тень останавливается у окна, на секунду замирает, словно смотрит на улицу — может быть, прямо на тебя, хотя это, конечно, иллюзия, ты знаешь, что с освещенной комнаты не видно ничего в темноте улицы. И в этот момент ты уже придумываешь. Ты придумываешь, что это женщина. Ей около тридцати пяти, может быть, тридцати семи. У нее темные волосы, собранные в небрежный пучок на затылке, и она только что вернулась с работы — какой-нибудь офисной работы, связанной с документами, цифрами, отчетами, бесконечной перепиской по электронной почте. Она устала, смертельно устала, но это приятная, заслуженная усталость, потому что сегодня ей удалось закрыть важную сделку или закончить квартальный отчет. Она подходит к окну не для того, чтобы посмотреть на улицу — улица ей неинтересна, — а для того, чтобы просто на секунду отключиться, выпасть из реальности, посмотреть сквозь стекло, не видя ничего конкретного. Она думает о том, что надо бы поужинать, но сил готовить нет, и она закажет доставку. Она думает о том, что завтра опять на работу, и послезавтра, и через месяц, и эта бесконечная череда дней наводит на нее легкую, едва уловимую тоску. Но она не жалуется. Она привыкла. Она сильная. Так ты думаешь. Так ты придумываешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.